

Григорий БЕНЕВИЧ

ПЕРЕКРЕСТОК СУДЬБЫ

Отрывки из книги мемуаров¹

Приход на Каменном в 1995 – начале 1996 года

Прежде чем рассказать о постигшем нашу общину накануне Страстной в 1996 году, нужно хоть немного поведать о том, что происходило в храме и в приходе незадолго до этого. Помню, что и в 1995 году, как и прежде, амвон храма время от времени предоставлялся для проповеди представителям самых разных взглядов. От крайне консервативно настроенных православных, обличавших Запад, масонов и вообще всех неправославных, до довольно либеральных, представлявших так или иначе «православие с человеческим лицом», которое было порой довольно эксцентричным.

В любом случае, при всех издержках, атмосфера была живая. Иногда, может быть, слишком живая на чей-то вкус, но всяко лучше, чем казенщина, проформа и мертвечина. Что до меня, то на фоне этой идейной борьбы я все более убеждался, что необходимо как-то сочетать и верность церковному Преданию, суть которого еще необходимо было выявить и понять, а не просто воспроизводить некие консервативные формы синодального или советского периода, и дух открытости и внутренней свободы от всяческих фобий, в том числе и в отношении Запада.

Из экзотического, связанного с о. Валентином, помню один рискованный поход, который мы с ним и с еще одним членом прихода совершили к небезызвестному лжемессии Виссариону (некогда милиционеру Сергею Торопу). Дело в том, что этот Виссарион одно время имел заметное влияние в среде творческой интеллигенции, которую как раз о. Валентин в немалой степени окормлял. Влияние Виссариона проникло и в Консерваторию, и много еще куда. Люди продавали свои квартиры и уезжали в «Город Солнца», что этот лжемессия основал в Курагинском районе Красноярского края.

Даже одна дама, то ли из нашего прихода, то ли просто из воцерковлявшихся им, оказалась среди таких последователей Виссариона и тоже собиралась продавать квартиру и уехать к нему. Ну так вот, о. Валентин со свойственным ему любопытством, с одной стороны, и чувствуя ответственность за опекаемых им – с другой, решил, когда возникла такая возможность, в один из приездов Виссариона в Питер, поглядеть, что это за явление, да и нас взял, чтобы мы помогли это понять и составили ему компанию в этом деле. Что сказать... вошли в роль, и этот Виссарион и его «апостолы» весьма талантливо. Не знаю уж, по какой системе они «играли», по Станиславскому, Брехту, Грозовскому или еще как, но если быть человеком впечатлительным с подвижной психикой и без твердой церковной веры, то можно запросто поверить во все это... В те веселые времена, когда экстрасенсы успешно завладевали по телеку вниманием миллионов, Виссарион был лишь одним из многих, и, может быть, еще и не самым опасным. Хотя, в отличие от этих экстрасенсов, он не столько «про деньги», сколько про некую одержимость, духовную прелесть на фоне определенных особенностей психики у него и у его окружения.

Как бы то ни было, Виссариона и его «Город Солнца» «закрыли» во всех смыслах этого слова, в 2021 году, а о. Валентин (в журнале Kalakazo в ЖЖ) даже об этом – не без сострадания к бедняге – написал.

¹ Окончание. Начало см.: Звезда. 2026. № 4; Волга. 2026. № 1-2.

Что еще запомнилось? Ну, вот, например, как митр. Иоанн (Снычёв) дал о. Валентину задание – во что бы то ни стало перестелить крышу над куполом храма. Предтеченская-то церковь на Каменном острове – историческая, памятник архитектуры, охраняемый государством (не заботившемся о нем), так что нужно все было починить с соблюдением всяческих правил, что делало такую стройку еще более дорогой. Это были самые тяжелые времена, голодные и бандитские 90-е... О. Валентин, сколько я слышал краем уха, предпринимал все возможные и невозможные усилия в поисках средств на это. На ремонт в храме еще деньги как-то найти удалось и сам ремонт сделать, но вот на крышу – ну никак.

Помог император Павел, которого, кстати, о. Валентин как страдальца почитал, следуя в этом благочестивой питерской церковно-народной традиции. Храм-то наш был построен при Павле, Верховном магистре, как известно, Мальтийского ордена... Ну, в общем, всех подробностей я не знаю, но как-то о. Валентин с этими Мальтийцами списался, а может, и встречался, и на починку крыши храма их раскрутил, так что митр. Иоанну, еще прежде его кончины, новую крышу предъявил. Так вот и получалось, что с одной стороны, с амвона храма порой крыли масонов последними словами, а с другой – крышу храма перестилали на деньги Мальтийцев, по слухам с этими масонами тесно переплетенными... Впрочем, что во всей этой истории правда, а что фантазии, Бог весть...

Факт тот, что Запада ни о. Валентин, ни многие члены нашего прихода не боялись, фобий на этот счет не разделяли, что, между прочим, имело для нашей семьи, как и других многодетным семей и матерей-одиночек, свой позитивный эффект в виде гумпомощи (одежды и еды от австрийских христиан), которая приходила раз в полгода, но была в те голодные и нищие годы весьма кстати. За благодетелей мы молились и посылали им с благодарностью открытки.

У митр. Иоанна с о. Валентином отношения были не такие уж простые, но приход наш владыка, можно сказать, любил и часто в него по-соседски из своей резиденции заезжал. Без всякой помпы, никогда денег с храма не просил, никаких проповедей идеологического содержания не произносил. Только очень любил, когда все в храме поют, а не только хор, и порой сам пытался руководить церковным народом в этом единодушном пении. О. Валентин, надо сказать, был человеком с хорошим музыкальным вкусом и завел отменный хор. Но митр. Иоанну, который, конечно, и это ценил, было мало этого хора, он хотел, чтобы пел весь народ и буквально настаивал на этом. А еще он очень любил цветы, и, как только он появлялся в храме, о. Валентин тут же отряжал кого-то покупать цветы, чтобы хоть чем-то ублажить владыку. Не деньгами, которых тот ни копейки не брал, а свежими цветами!

Все, что я здесь рассказал, надеюсь, не создало впечатление, что храм был каким-то клубом по интересам, что в нем просто собирались милые интеллигентные люди, пришедшие в православие, но более всего в теплую компанию себе подобных и к интеллигентному и чуткому батюшке. Элементы всего этого, конечно, тоже были, но все же главным была та реальная теплая и живая вера, которая всех соединяла. А может, и нечто большее, чем вера... Это было место, куда, по словам героя Достоевского, «можно было пойти».

Конец утопии

Медовый месяц, длившийся несколько лет, в отношениях между Церковью и интеллигенцией (она составляла если не подавляющее большинство, то самую активную часть нашей общины) для прихода на Каменном острове закончился в Вербное воскресенье 1996 года, когда, придя в храм, мы увидели вместо о. Валентина, ну, как бы это сказать, чтобы никого не обидеть... Он ведь и сейчас настоятель того храма и для кого-то любимый батюшка... Слов у меня таких нету... И вообще вся эта история – одна сплошная рана, не только для меня, но и для почти всех, кто был свидетелем тех событий.

Через какое-то время мы узнали, что распоряжением нового митрополита, Владимира (Котлярова), назначенного 27 декабря 1995 года на Питерскую кафедру вместо почившего митр. Иоанна (Снычёва), многие служившие на приходах иеромонахи призываются в Лавру, чтобы служить там. Так что и нашему настоятелю предписано то же, а на его место назначен другой. Что ж, послушание есть послушание, мы честно пытались стоять на службе в Вербное, но это было – простите мне мою (греховную) эмоциональность – просто физически невозможно. Не только у многих женщин и девушек ком стоял в горле и слезы наворачивались, а то и просто текли из глаз, но и у вполне взрослых мужчин... И дело было тут не только в нашей духовной и, видимо, так же эмоциональной, привязанности к о. Валентину (что плохо, но что было, то было), но и в ощущении какой-то страшной неправды от происходящего.

Все это, да еще накануне Страстной – а с новым настоятелем сразу пришла группа поддержки (крепкие парни и деловые решительные тетki, которые все начали брать в свои руки) – выглядело предельно безобразно. Одна деталь: узнав, что в общине есть староста, новый настоятель поспешил к митрополиту, чтоб тот издал указ об отстранении не только о. Валентина (там хоть какой-то был благовидный предлог – переводение в Лавру), но и нашего любимого старосты, математика, доцента ИНЖЭКОНа, С.А. (тут и предложений никаких не было – одно желание поставить под свой контроль финансы и полностью сменить весь приходской актив)².

На Страстной ходить в храм было невозможно. Мы вычитывали службу по Триоди дома как могли и ждали вестей от о. Валентина о том, куда ехать на Пасху, то есть где он будет служить.

Распоряжению митрополита поселиться в Лавре он пока под каким-то благовидным предлогом не подчинился, но храм на Каменном (только что закончив ремонт) уже навсегда покинул. Доходили слухи, что то один, то другой его товарищ по священническому цеху, испугавшись, отказывался приютить на Пасху полуопального (хотя ни под каким прещением он еще не был) непокорного иеромонаха с его общиной. Самым смелым оказался о. Игорь Филин, настоятель храма преп. Серафима Саровского в Песочном.

Что было дальше? Дальше были совершены все характерные для интеллигенции ошибки, которые можно было сделать в этой ситуации. Мы решили составить делегацию и пойти к митр. Владимиру, просить не отрывать о. Валентина от созданной им с нуля большой и дружной общины (рассматривались всякие возможные компромиссы). О. Валентин слабо верил в удачу этой затеи, но попробовать благословил. В результате была составлена делегация, в которую входил и я. При этом мы, наивные, пошли не с пустыми руками. Нет, не со взяткой, а с... проектом какого-то, при храме, хоть прежнем, хоть каком-то другом, просветительного общества по воцерковлению интеллигенции, во главе которого должен был встать о. Валентин; у него ведь это прекрасно получалось, лишь бы не отрывали его от общины. Проект был подписан немалым числом членов прихода, среди которых были и крупные ученые, в том числе членкор академии медицинских наук, видные деятели искусства и т.д. О. Валентин за время своего служения воцерковил немало довольно известных людей, и практически все они «вписались» за него. Но ничего этого,

² Из воспоминаний С.А.: «Новоназначенный настоятель храма объявил о созыве собрания приходского актива в начале Страстной, м.б., в понедельник. О. Валентин в это время находился в кардиологии В-МА (*Военно-медицинская Академия*. – Прим. Г.Б.) (на Пасху его потом отпустили). В тот день служил старенький священник о. Алексей. Новый настоятель во время службы прошёл с улицы прямо в алтарь, как был, в кожаной куртке, с дипломатом. Сразу повеяло смертельным холодом. После службы посреди храма был поставлен стол, на столе – диктофон, за столом – новый настоятель со своими. Объявил, что мы должны сдать дела, ключи, документы. Каждое возражение будет записано. Народ пытался что-то говорить о важности общины, приходской жизни, сохранении традиций. Но в ответ услышали, что он пришёл не один, у него свои люди и свои порядки, а нам там места нет со всеми нашими интеллигентскими штучками. Вот так, по сути. И остались мы молиться келейно за отца Валентина и за нас, не представляя, что ждёт нас впереди».

конечно, митр. Владимиру было не нужно. Он ответил, что от о. Валентина и от нас требуется послушание и его распоряжение неотменимо.

Сам о. Валентин позднее рассказывал, что какие-то люди из окружения нового митрополита ему через знакомых намекали, что все дело бы решила приличная взятка (даже и сумма была известна³). И именно это было для него последней каплей...

Сейчас, 30 лет спустя, я думаю, что одной из главных причин, почему нами все происшедшее было так тяжело воспринято, было то, что в нашу общину пришли люди с общей травмой советского прошлого, которые надеялись (сознавали они это или нет) в православной Церкви эту травму изжить. И вот, когда мы столкнулись с совершенно формальным, бездушным обращением, без всякого учета живой жизни, которая возникла в нашем приходе, мы как будто снова встретились с чем-то из нашего прошлого – бездушием и формализмом (да еще и корыстью мотивированными), но уже в РПЦ, в которую мы так наивно и горячо поверили... Это было, конечно, тяжелым ударом.

Помню, что в это время я как раз читал Письма Василия Великого и нашел там ряд писем (Ерр. 227–228), обращенных к пастве маленького городка (фактически селения) (Колонии) в Малой Армении, которую в это время по заданию императора Валента (кстати, еретика) курировал Василий. Так вот, по церковной необходимости Василий поставил епископа этого городка епископом другого, соседнего, *большого* (Никополя) (после смерти тамошнего), потому что просто не было более подходящего. Но при этом, зная, как любят своего епископа на прежнем месте, оставил его епископом и там. А жители Колонии возмутились этим решением вплоть до того, что собрались обращаться с жалобой в светский суд.

Так Василий им писал письмо, фактически извиняясь перед ними, по крайней мере, утешая и объясняя им, с чем все это связано, обещая, что при первой же возможности приедет сам и все объяснит еще и лично (это при его-то слабом здоровье, когда каждое путешествие было для него мукой)... Василий, кстати, не ругает жителей Колонии за привязанность к своему епископу, даже хвалит ее, считая это естественным и правильным, вполне христианским, просто просит их не жадничать, но поделиться своим сокровищем.

А нам никто ничего объяснять не собирался, ни о каких компромиссах, которые мы предлагали, и слышать не хотели... Просто потребовали подчинения, которое называлось послушанием. Так мы встретились с тем, чем отличается Церковь как организм, ценящий и лелеющий все в себе живое, от церкви как организации (несущей к тому же родовые черты советской административно-командной системы с добавлением бандитских элементов 90-х).

В ту Страстную Седмицу, пока мы ждали вестей от о. Валентина, я впервые в жизни вчитался в службу Страстной и даже вступил с ней, в, наверное, слишком вольный, стихотворный диалог⁴.

РПЦЗ. Начало странствий

Через некоторое время после изгнания из храма о. Валентин сообщил нам, что он переходит в Зарубежную Церковь (РПЦЗ), которая согласна после покаяния принять его, а из членов бывшей общины, кто хочет, может пойти за ним. У о. Валентина был в довольно хороших друзьях протоиерей Владимир Савицкий, бывший некогда благочинным всей Киргизии РПЦ МП. Так вот, этот о. Владимир недавно, в том же 1996 году перешел в РПЦЗ.

³ 6000 долларов. По тем временам сумма хоть и большая, но при желании насобирать ее было можно. Но о. Валентину претило участвовать в этой церковной коррупции, да еще на фоне предыдущего бессребренника митр. Иоанна... Новоназначенный настоятель же эту сумму, говорят, внес (митр. Владимир собирал на новую иномарку). Обо всем этом через много лет я узнал из воспоминаний о. Валентина.

⁴ Из этого вышло стихотворение «Страстная седмица»; оно вошло в сборник «Дважды двенадцать», СПб.: Пальмира, 2025 г.

Не думаю, что о. Валентин на тот момент разделял все убеждения о. Владимира, скажем, его приверженность монархии, тогда в любом случае эта тематика вообще никак не всплывала. Нет сомнений, что сам о. Валентин не был типичным представителем приходивших тогда в РПЦЗ — людей обычно консервативно-патриотического и монархического склада, ярых противников сергианства и экуменизма. Думаю, что церковно-идеологически о. Валентин был ближе всего к «парижанам» (евлогианам), но присоединиться к ним возможности не было. Главное же, о. Валентин стремился остаться пастырем для своей общины, как и сохранить ее как таковую. И такую возможность ему предоставила Зарубежная Церковь.

Итак, с подачи о. Владимира состоялся переход о. Валентина в РПЦЗ. Я и еще несколько членов нашей прежней общины, во главе со старостой С.А., присутствовал на этой службе, проходившей в домовом храме у о. Владимира. Так начался переход немалой части прихожан, пошедших вслед за своим настоятелем, в РПЦЗ. Окончательно община была зарегистрирована в июне 1996 года.

Характерно, что, когда встал вопрос о названии, мы посвятили свою новую общину апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, то есть апостолу любви. Это весьма нетривиально было для приходов «зарубежников» в России, так как они зачастую посвящались либо царю-мученику Николаю и вообще царственным мученикам, либо таким знаковым фигурам, как мученица великая княгиня Елисавета (именно ей была посвящена община о. Владимира). Мы же, что называется, в общую тенденцию явно не вписывались — сразу были белой вороной, делая акцент в христианстве не на идеологии или приверженности той или иной церковной традиции, но ни больше ни меньше как на любви.

Так началось наше странствие — никакого ведь храма или даже постоянной квартиры, как у о. Владимира и его небольшой общины, у нас не было. Где только ни служили... и в театральных мастерских, и в музее Ахматовой, и на частных квартирах — но там вмещаться долгое время было трудно — вслед за о. Валентином пошло не меньше чем 30-40 человек... Постепенно, впрочем, кто-то отпал, и стали кое-как помещаться в квартирах из нескольких комнат.

В первые несколько лет такой жизни мы, наряду с бытовыми неудобствами, пожинали и многие позитивные плоды нового рода церковной жизни. Члены общины все более тепло относились друг к другу, было настоящее (или казавшееся таковым?) чувство своей семьи. Батюшка был куда более доступен для паствы, чем в храме. После богослужений по воскресениям и праздникам всегда было чаепитие с общением и интересными и полезными разговорами. Были и совместные выезды, например, в Старую Ладугу... О взаимопомощи и прочих вещах я и не говорю.

Мы потеряли храм, но многое приобрели. Ну, и никаких идеологов, проповедовавших с амвона, как случилось на Каменном острове, у нас, конечно, не было. Равно не культивировались и достаточно обычные для среды РПЦЗ разговоры с осуждением МП. Вообще какой-либо идеологичности мы старались избегать. В общем, была теплая и семейная атмосфера. При том что люди все были разные, разного происхождения, возраста и профессий, со своими вкусами, но это как-то не мешало.

В этой атмосфере, впрочем, были и свои опасности, но поначалу они не давали так уж явно себя знать. Если сказать о них обобщенно, то вместо преображения душевной любви в духовную нам грозило застревание в этой душевности с постепенной деградацией и ее. Но всего этого мы до поры до времени не чувствовали и не понимали.

Возвращаясь же к самому моменту перехода в РПЦЗ, не могу сказать, что мне он дался легко. Совсем недавно, в большой историческо-философской статье «Золотой век и апокалипсис», я критиковал идеологию РПЦЗ. Кроме того, я знал, что авторитетный для меня архим. Софроний (Сахаров) относился к РПЦЗ критически. Все это для меня тогда было значимо, и со всем этим нужно было что-то делать.

Я уж не говорю о том, что переход в РПЦЗ создавал много совершенно неожиданных проблем. Например, когда летом 1996 года приехал в Питер владыка Каллистос (Уэр), мой

дорогой тьютор из Оксфорда, которого я вспоминал только с благодарностью, мне пришлось уклониться от встречи с ним, так как пришлось бы подходить под благословение – епископ же! – а теперь я вроде как этого делать был не должен (так я с владыкой больше ни разу и не встретился, хотя каждый раз, когда он приезжал в Питер, он звал меня). Мой же оксфордский приятель, председатель СИНДЕСМОСа, Д.К., и вовсе мне сказал полшутя, полувсерьез, когда я ему объявил, что перешел в РПЦЗ, что я теперь в стане их врагов...

Витя

Осенью 1996 года я пережил и два потрясения личного характера. Сначала – о первом. Мой старший друг и первый учитель в поэзии Витя Ширали проходил в это время через одну из самых страшных трагедий своей жизни. Об ее существовании он даже до конца и не знал, так как мы, его друзья долгое время (во избежание худшего) скрывали самое страшное от него (не помню уже, знала ли об этом его мама, Мария Викторовна). Произошло же вот что. Витина возлюбленная, Лариса Олеговна Кузнецова, которая должна была уехать навсегда к родным в США, хоть Витя ее умолял остаться, и не уехала, и не осталась, а выбросилась с балкона высотки в Питере и насмерть разбилась. Витя этого не знал, он думал, что она уехала, не подает вестей и страшно тосковал. А с тоски еще больше прежнего пил. Надо сказать, что именно с появлением в Витиной жизни Ларисы в 1993 году у него прервался долгий период творческого молчания, он был к ней сильно привязан, и вот теперь она (как он думал) уехала с концами...

Сам я оказался рядом с Витей (до этого был погружен в свои дела – Оксфорд, ВРФШ, все эти церковные треволнения, то есть жил совсем другой жизнью) уже тогда, когда Витя вошел в страшное пике – он допивался (очень быстро) до попадания на Пряжку, проводил там недели две, его выпускали, и он еще через пару месяцев (хорошо, если не чаще) снова оказывался там. Вот я и начал регулярно принимать участие во всем этом, пытаюсь абсолютно безуспешно этот смертельный круг порвать, да и хоть как-то помочь его маме. На Пряжке врач (такая чуткая, умная и одновременно твердая еврейка Марианна Абрамовна; Витя ее очень любил, а она – его) сказала мне, что ему осталось по ее понятиям совсем недолго, что сделать практически ничего нельзя. Но мы, его друзья (их рядом с ним в тот момент оказалось совсем мало), пытались, конечно, хоть что-то сделать для него. Как это смертельное пике кончилось, мы знаем – появилась, приехавшая с Украины, Галя (некогда возлюбленная, имевшая от него сына), и сделала то, что ни друзья, ни мама, ни врачи сделать не могли... Но еще до окончательного спасения его Галей из этой мертвой хватки алкоголя и отчаяния, Витя, узнав все же от кого-то о смерти Ларисы, закончил свой цикл, посвященный ей, и включил его (положив за основу) в сборник стихов, который так и называется: «Долгий плач Виктора Гейдаровича Ширали по Ларисе Олеговне Кузнецовой и прочие имперские страсти» (издан в 1999 году). Про «имперские страсти» тут появилось прибавление потому, что Витя тяжело переживал распад СССР, который для него, наполовину «нацмена», был прежде всего империей, наследницей Российской, а вся эта история с Ларисой вписалась в парадигму этого тяжелого переживания. Такая вот одновременна страшная и удивительная история.

А у меня от тех попыток спасти Витю осталось стихотворение «Крестовоздвижение»⁵, да письмо о. Валентину, которое я написал, дежуря одну из ночей у Ширали той самой осенью 1996 года. Вот отрывок из него: «Пришлось вызвать врача. Приехал молодой такой круглолицый. Они Виктора уже хорошо знают. Ну что, – он говорит, – случай последней стадии алкоголизма. Спасти нельзя. Полная деградация личности. А я-то знаю, что это бред! Вот, что написал Ширали 4 дня назад еще в психушке:

⁵ Опубликовано в сборнике «Дважды двенадцать».

Шлиман раскопал не Трою,
А какой-то городок.
Может, сам же и построил,
Золото взял на зубок.

Вот, что значит верить в эпос.
Наговоренный слепым.
Илиада это выпас
И колодец золотой.

Золотая моя юность –
Сколько скрадено Елен! –
Как ты в осень обернулась,
Золотую как обман.

Ну вот, пусть хоть один из этих «докторов» напишет такое стихотворение, а потом говорит о деградации личности.

Что такое личность? Кто писал эти стихи? Тот же ли Ширали, который скотом и псом валяется в своей блевотине? Это правда о человеке, что он – «кал еси» и нечто совсем иное еси. Страшная правда, докторам недоступная.

Смерть бабушки Раи

Той же осенью, в октябре 1996 года, умерла моя бабушка, мамина мама Рахиль-Мария Менделевна Шустерович (так по паспорту, а для людей – Раиса Михайловна), для меня просто бабушка Рая. Умирала она долго и мучительно, а мои родители самоотверженно ухаживали за ней до конца. Я тоже присутствовал при ее смерти.

Думал о том, что, вот, ничего я не сумел сделать для ее души, что она так и умирает неверующей, умирает тяжело и мучительно... Все, что я тогда, со слезами на глазах, мог – это молиться за нее. Да вот, еще помазал ей лоб и лицо святой водой, да перекрестил на прощанье. Не знаю, разрешено ли это в отношении неверующих, тем более еврейского происхождения... Но что сделал, то сделал.

А еще, уже уходя от родителей, написал, сдерживая слезы, такое стихотворение (я уже как-то раз приводил его):

Эпитафия

Дав привыкнуть к смерти
Своей,
Бабушка Рая
Умерла.
Бабушка
Рая...
Рахиль-Мария –
Такое имя
Дали ей
Её родители.
Впрочем,
Так её
Никто не звал,
Ни дома,

Ни на службе.
Имя это
Осталось скрытым
Как будто,
Неосуществленным...

Бабушки Раи
Больше нет
С нами...
Боже,
Упокой Рахиль-Марию
С её родными –
Отцом и матерью.
И даруй ее мужу –
Дедушке Натану
Покойному –
В раю их
Звать её
Рахиль-Марией,
А его ей –
Нафаном.

11 октября 1996

А чтобы не завершать эту заметку слишком пафосно, расскажу еще одну, отчасти забавную, историю. Мамина родная сестра, теперь уже покойная, желая, чтоб ее сестра с мужем хоть немного пришли в себя после мучительных проводов их мамы, пригласила их погостить к себе, в США – с оплатой дороги. Так они в первый и последний раз (если не считать папиного пребывания в разрушенной войной Европе в 1945 году) оказались за границей. Повидались с сестрой, племянником и его семьей, посмотрели Штаты. Впечатление от страны было у них с папой примерно таким же, как мое, в мой приезд в 1994 году – без восторгов. Но забавно не это, а то, что к папе, когда он там повстречался со своим прежним коллегой по работе, переселившимся в США по еврейской линии, было сделано предложение – продать за приличные деньги секреты советского ВПК (папа при жизни даже не рассказывал об этом, а мама раскололась). Да и вообще было предложено остаться в Штатах с какими-то посулами. Ну так вот, папа категорически это все отверг. И хотя я сам к советскому ВПК всегда относился крайне отрицательно, но этот его поступок вызвал у меня несомненное уважение, как некое свидетельство папиной, так сказать, integrity. Мужские качества во мне он не очень-то воспитывал (не сумел противостоять тут теще), но ценность цельности как-то подспудно внушил.

Немного лирики

В январе 1997 года, на Крещение Оля после долгого перерыва написала одно из самых любимых мною стихотворений.

Крещение

Вот благо сыплется на нас,
И тихая ложится влага,
Качает дерево рога,
И вместо манны только снега,

Вздвогнув,
касается рука.
Чего? Земли, воды, огня
Или небес? Зачем так нежно,
Роскошно, празднично, безгрешно,
Заботливо, тепло, утешно
Всех укывает и меня;
Помойку всю и наготу
И все – в крещенское убранство.
Земля венчается на царство;
Всю немоту и черноту
И боль, и горечь и тщету –
Струей веселой иорданской.

Помню, как мы с о. Валентином сидели на первой в истории России конференции по Освенциму и ГУЛАГу⁶, и Оля протянула ему листок с этим стихотворением, он его прочел, и я увидел, как в нем борется желание выразить свой восторг с осторожностью духовника, который понимает, что хвалить особо никого не стоит.

В тот год на Крещение как-то необыкновенно красиво выпал снег и огромными причудливой формы комьями облепил деревья у нас под окнами. Ох, как мне не хватало потом этих деревьев под окнами, когда мы переехали в 1998 году на Петроградскую сторону с окнами во двор-колодец.

Об одном из самых счастливых моментов на этой квартире я написал, напишу и об одном и самых жутких. Не помню уже, в каком именно это было году, но точно в 90-е. Как-то раз я проснулся посреди ночи от странного запаха. Вышел в коридор и увидел, что входная дверь – никаких железных дверей тогда не было, у нас по крайней мере, только простая деревянная – горит ярким пламенем, бегущим по краям, и уже начинающим подбираться к центру. Закричал, выбежала Оля с детьми. Все, встав в цепь, начали тушить огонь. Опасались, конечно, открыть дверь, но все же, в конце концов, решились – снаружи никого не было, но дверь обгорела прилично (правда, так ее и не поменяли – просто подчистили, подкрасили, и оставили как есть). Только позднее узнали, рассказав о случившемся во дворе, что на соседней лестнице, в квартире, находящейся на том же этаже в том же месте, живут то ли наркоманы, то ли торговцы наркотой. И видимо, не получив дури, кто-то из клиентов спутал квартиру и поджег нашу.

Как объяснилось, полегчало. А то, думали, может по еврейской части... времена-то какие были.

Конфы

Описывая феномен «болтовни», Хайдеггер еще в оны годы упомянул об особой когорте то ли общественных деятелей, то ли псевдоученых, которые ездят с одной конференции на другую, что-то постоянно обсуждают, утопая в бесконечной говорильне без всякого приращения знания и смысла. О примерно том же, пожив в среде русских религиозных философов, м. Мария написала (узнав о смерти дочери, Гайяны, в СССР) еще жестче: «Не укрыться в мирозерцанье, / В этот тканый временем наряд. / Ни к чему словесное бряцанье, – / Люди тысячелетья говорят» (1937). Но тут каждый получает свои уроки и учится или не учится на них.

В конце 90-х я участвовал в нескольких мероприятиях такого рода, но, с вашего позволения, опускаю подробности.

⁶ Что я там говорил, можно узнать из доклада «Теология после Освенцима – православная точка зрения». Его можно найти на моей страничке на academia.edu: <https://rchg1-spb.academia.edu/GrigoryBenevich>

Из действительно важных для меня конференций этого времени стоит упомянуть лишь проходившую в Оксфорде в 1997 году, – по Максиму Исповеднику, но и о ней я здесь рассказывать не буду, чтобы не перегружать мемуары богословием, патрологией и самопиаром⁷.

Кочетковцы. Мать Мария. Сорос. Феминизм

Где-то, кажется осенью 1997 года, Н.П. отправила меня в командировку в Москву – поглядеть, что из себя представляют последователи о. Георгия Кочеткова («кочетковцы»), их институт (тогда он назывался, как и ВРФШ, – Высшей школой, только не религиозно-философской, а православно-христианской) и вообще их церковная жизнь. Эту поездку я бы, наверное, обошел молчанием (ведь «кочетковцем» я не стал, но и в число их критиков тоже не вписался), если бы не одна знаменательная встреча.

На книжном лотке в их храме (забыл уже, где он находился и в честь кого был освящен), я увидел двухтомник *Мать Мария (Скобцова)*. Воспоминания, статьи, очерки: В 2 Т. Paris, 1992. Имя это я уже слышал и книжку о. Сергия Гаккеля про м. Марию читал. Как личность она по этой книге на меня, конечно, произвела впечатление, но тут я раскрыл в случайном месте это парижское издание и был поражен нетривиальностью и яркостью ее мысли. Потом заглянул в несколько других мест, и мое впечатление только усилилось. Подумал: как же так получилось, что в книге о. Сергия эта сторона матери Марии (то есть она как мыслитель) практически совсем обойдена? Ну, и в целом буквально по нескольким прочитанным фразам мне захотелось все это внимательно прочесть и изучить. Так что, несмотря на изрядную цену, за которую продавался этот парижский двухтомник, я, при моем-то жмотстве, его немедленно купил.

Вернувшись в Питер, я эти книги почитал и вполне убедился, что мысль м. Марии, все ее наследие заслуживает пристального изучения. А когда я поглядел, что о ней вообще написано, мне показалось просто несправедливым, что – так мало: по существу, не затронута ее мысль, которая, хоть и связана с традицией русской религиозной философии (к последней я был не особо расположен), но в чем-то важном отличалась от нее – была пропущена через личный опыт и обращена к практической жизни.

Сам факт, что женщина может так ясно и сильно мыслить, не скрою, произвел на меня впечатление. Подумал, что, может, о м. Марии и не пишут всерьез как о мыслителе из-за того, что от женщин по мужскому шовинизму в этом отношении ничего особенного не ждут. Это выглядело несправедливым. Особенно интересным мне показалось то, что она писала о духовном «материнстве». Я к тому времени уже встречал у Максима Исповедника концепцию о душе, которая должна стать «матерью-девой», где рождается Христос (даже читал в Оксфорде статью на этот счет). И вот, неожиданно для себя, нечто сходное (так мне, по крайней мере, показалось), я встретил и у м. Марии. К тому же важным было, что она говорит и пишет о связи первой и второй заповеди, и ее концепция «всеобъемлющего материнства» как-то связана с этой проблематикой.

Помнил я и о том, что в монастыре в Эссексе говорили о м. Марии с большим пиететом, и что там хранится 5-метровая вышивка м. Марии «Житие царя Давида», которую я в свой первый приезд в монастырь посмотреть не смог. Все это вместе подталкивало к серьезному исследованию. И в отличие от патрологии, для настоящих занятий которой у меня не было не только необходимой вторичной литературы, но и многих важных навыков, здесь задача представлялась куда проще. (На самом деле многих необходимых навыков у меня не было и в этой сфере, и тоже пришлось многому учиться.)

Как бы то ни было, учитывая, что Сорос как раз в это время уже раскинул свои сети над Россией, я решил попробовать пойматься в них. Для этого, конечно, нужно было составить соответствующий план исследования. Я уже более или менее представлял к тому

⁷ Мой сделанный на этой конференции доклад «Суббота у преп. Максима Исповедника» (по-английски и по-русски) можно найти на моей страничке academia.edu.

времени «конъюнктуру», то есть что может понравиться грантодателям. При этом, конечно, я сразу собирался сыграть свою игру: «угадать» – да, но «угодить» – нет.

Впрочем, я и не скрывал в своей заявке, которая называлась: *The Religious Philosophy of Mother Maria (Scobtsova) (in the context of Russian religious thought and modern feminist theology)*, что у м. Марии мы не найдем ни борьбы за права женщин, ни ряда других, существенных для феминистской теологии вопросов (кое-что я о ней знал – заглядывал в Оксфорде), например, стремления исправить богословский язык, избавив его от «маскулинности». Тем не менее мне было в самом деле интересно, как м. Мария работает с традиционной для русской философии «софиологией» и как это соотносится с соответствующей темой у феминисток.

Как бы то ни было, все ритуальные слова в своей заявке я произнес – и про «философию другого» (с которой у м. Марии общее – ее концепт мистики человекообщения), и про теологию после Освенцима (в связи со спасением м. Марией евреев), и про критику консервативных форм православия (что было, то было). Так что грант свой (первый в жизни личный грант) я от Сороса получил.

Шутки шутками, но вляпавшись в это дело, мне пришлось еще не один год «очищать» и «возвышать» – уже не по гранту, а для самого себя, всю эту проблематику, то есть весь этот дискурс, связанный с феминистской теологией. Сначала я отработывал грант (чего я там написал, да еще на ломаном английском, трудно сказать – текст этот, кажется, утрачен). Потом – года два – я писал диссертацию (она доступна в Сети), и только после того как все это было закончено, я написал небольшую статью уже не о м. Марии, чей богословский авторитет для многих спорен, но о св. Иоанне Кронштадтском и преп. Силуане⁸, где, среди прочего, имплицитно обратился и к вопросу, поставленному в феминистском богословии – не страдает ли Бог традиционного (а значит, и православного) богословия однобокой маскулинностью, ведь писавшие о Нем почти все были мужчинами?

Поездка на Святую Землю

Где-то между первой и второй конференцией по богословию после Освенцима и ГУЛАГа⁹ у меня появилась возможность впервые побывать на Святой Земле и посетить Израиль. Это получилась, так сказать, практическая работа или полевая экспедиция после кабинетного теоретизирования. Попал я туда вот как. Летать за свои деньги за границу мне по-прежнему было недоступно, но тут моя тетя, Лена, папина сестра, очень общительный человек, узнала, что в ее знакомой по двору семье ищут человека, который мог бы сопроводить старушку-инвалида в перелете к детям в Израиль. Старушка была лежачей, и в самолет без сопровождающего ее не пускали. Они сначала предложили самой моей тете, но она уже была пожилой и переадресовала просьбу мне. Дорогу оплачивали и даже какую-то мелочь давали за сопровождение – ну я и согласился.

Так я впервые оказался на Святой Земле, не имея представления, где я там буду жить (ясно было, что не в той семье, которая меня ангажировала только для одной цели). Перед отъездом я навестил Ширали и взял у него его двухтомник, с дарственной для прекрасного питерского поэта Елены Игнатовой, о которой я, конечно, слышал, но лично с ней знаком не был, а также номер ее телефона. По счастью, старушку мне нужно было привести в тот самый город (Бейт Шемеш), где жила Лена. Так что сразу по приезде я отправился к ней. Был встречен с легким недоумением, которое на глазах прошло, когда мы чуть-чуть разговорились, и я был окружен волнами самого теплого гостеприимства с ее стороны и со стороны ее супруга. Не помню, решил ли я показать Лене свои стихи, но точно помню, что показал Олины, и Лена отзывалась о них очень хорошо, ну а мне стали показывать Израиль, учитывая мои интересы, – прежде всего христианский.

⁸ <https://silouan.narod.ru/benev1.htm>

⁹ Рассказ о них я здесь опускаю; мой доклад, сделанный на второй: «Иудаизм и будущее православие» можно найти на моей страничке на academia.edu.

Вскоре к этим усилиям подключился и другой питерский поэт Володя Ханан, живший в Иерусалиме. С Володей мы были знакомы по работе в котельных, да и по неофициальной культуре. Ну и, позаботившись о моем пристанище в Иерусалиме, он повозил меня по святыням – сам или с чьей-то еще помощью (я уж сейчас всех подробностей не припомню). Так что и в Вифлееме я побывал, не только в Иерусалиме, но больше, собственно, нигде. Настоящим открытием был показанный мне Володей эфиопский храм, ну а все остальное – как у всех, с достаточно обычными впечатлениями питерского православного интеллигента и от торговли вокруг Храма Гроба Господня, и от прочей суеты Старого города...

По-настоящему «пробило» меня в трех местах на Елеонской горе, где я был без сопровождающих – в Гефсиманском саду с его перекрученными, как человеческие мышцы без кожи, оливами (то ли свидетелями молитвы Христа, то ли прямыми потомками тех), у рак со святыми мощами преподобномучениц Елисаветы и Варвары (там была какая-то неземная тишина) – в церкви Марии Магдалины, в женском монастыре, тогда принадлежавшем РПЦЗ, и, наверху этой же горы, куда я поднялся по достаточно крутому склону, в мужском Вознесенском монастыре, тоже принадлежавшем РПЦЗ, с его колокольной, именуемой «Русская свеча», близ места Вознесения.

Ну а потом я отправился в Яд ва-Шем (мемориал Катастрофы), и, честно говоря, здесь меня, что называется, тоже «пробило». Но не так, как в святых местах, где в Гефсимании – все существо собиралось как бы воедино, у рак святых мучениц – утихало, а на вершине Елеона – возвышалось. В Яд ва-Шем «пробило» до какого-то священного ужаса и внутреннего нутра.

Ну, и конечно, я не мог как-то это не попытаться, умерив размером, понять. Так получилось стихотворение в 12 строк «Ерусалим»¹⁰. В нем свелись воедино все мои главные впечатления от Израиля и Святой Земли. Но было во время моего посещения Яд ва-Шема и еще нечто, о чем нельзя не упомянуть. Мои израильские знакомые помогли мне получить в читальный зал «дело» матери Марии. Оно, на тот момент, было на удивление тонким – почти никаких важных материалов, но среди двух-трех листочков – знаменитое стихотворение: «Два треугольника – звезда, / Щит праотца, отца Давида»... С его последней строфой:

Пусть же те, на ком печать,
Печать звезды шестиугольной,
Научатся душою вольной
На знак неволи отвечать.

Париж, 1942 г.

Стихотворение в «деле» м. Марии было перечеркнуто, то есть зачеркнуто, читавший его (видимо сотрудник музея) явно не был доволен его содержанием (нечто на полях еще было написано, выражающее несогласие). Что и не удивительно.

Деревья, посаженные в память м. Марии и ее спасавших евреев сподвижников, я уже искать не стал.

На этом моя «полевая экспедиция» в Израиль закончилась.

А. Н. Шустов

Вскоре после получения гранта от Сороса, начав изучать жизнь и творчество м. Марии, я обнаружил, что помимо восторженной, но о многом умалчивавшей книги о.

¹⁰ См. в сборнике «Дважды двенадцать».

Сергия Гаккеля, есть работы исследователя совсем другого типа – честные, без ангажированности, лишних эмоций и фантазий (хотя не без гипотез, без которых не может работать ни один ученый) – статьи и публикации Анатолия Николаевича Шустова. Я познакомился с ним лично (жил он в Питере, рядом с Сосновкой), а потом уже частенько встречался с ним в Публичке, завсегдатаем которой он был. Анатолий Николаевич не числился ни в одном научном или учебном гуманитарном институте или учреждении. Он не получал за свои работы до самого последнего времени ничего, или почти ничего. У него не было даже высшего гуманитарного образования, только техническое. Во всяком случае, он точно работал не для денег и научного статуса (диссертаций он тоже не защищал, хотя по объему сделанного им запросто мог бы). Между тем с ним не считали зазорным сотрудничать солидные ученые, например, А.В. Лавров – сейчас академик, с Шустовым они написали вместе статью о поэме Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (девичья фамилия м. Марии) о Мельмоте-Скитальце.

Он, будучи уже на пенсии, работал просто потому, что ему то, чем он занимался, представлялось важным и интересным. Любил русскую словесность и русскую культуру, был их, простите за штамп, – рядовым тружеником. Впрочем, как сказала ценимая им м. Мария, человек меряется не значимостью места, которое он занимает, а тем, как он вкладывается на своем месте. Вот, А.Н. и был таким не так уж часто встречающимся в нашей жизни человеком, который на своем месте (сам же его и организовав) и вкладывался до конца.

Но для меня он был тем (первым встреченным мной исследователем), который, что называется, поставил меня на землю. До встречи с А.Н. я, в своих размышлениях и писаниях о м. Марии, вращался, так сказать, в мире идей. Факты биографии, история рукописей и публикаций, да и просто текстология меня не особо интересовали, да и, признаться, совсем не увлекали. Ну, конечно, идеи – вся эта «софийность», «соловьевщина», тем паче в контексте феминистской тематики, казалась куда важнее, чем какие-то там факты биографии и история публикаций. Среди идей можно жить, свободно их тасуя, как колоду карт... Я, конечно, об этом не задумывался, но фактически, особенно поначалу, именно этим и занимался.

А.Н. же, на мои попытки поделиться с ним чем-то в этом роде, спокойно выслушивал меня, одобрял в целом мои занятия религиозно-философской стороной наследия м. Марии, да и ее поэтикой, но вот все же нужно бы учесть этот текст, или этот факт биографии, проверить то или иное свидетельство, ну и т. д. в том же роде. То есть ненавязчиво научил меня элементарным навыкам, необходимым всякому гуманитарю, который хочет не просто очередной говорильни, а реально что-то изучить, узнать и в своей области сделать.

Иными словами, наряду с довольно известными людьми (патрологами, философами, поэтами и богословами), которых мне посчастливилось встречать в своей жизни и которых я смею считать своими учителями, наставниками и соратниками, был и такой «простой труженик», как Анатолий Николаевич, которому я обязан не меньше, чем этим известным и знаменитым людям.

Из наиболее значительного, что он сделал – издание лучшего и самого полного на тот момент двухтомника м. Марии, в подготовке которого поучаствовал и я. Скончался Анатолий Николаевич 1 октября 2012 года, на 77 году жизни, как мне рассказала его вдова, умер, где и положено такому человеку – в библиотеке (от сердечного приступа). Вечная ему память!

Переезд на Петроградскую сторону

Летом 1998 года мы переехали с квартиры на Черной речке (дом был на Торжковской) в квартиру на Большом проспекте Петроградской стороны, на углу Ординарной и Большого (что-то было символичное в этом сочетании – обычного и великого, но мы не особо задумывались об этом). Квартиру побольше площадью и с

большим числом комнат удалось выменять на нашу прежнюю (хоть и сталинскую) двухкомнатную с доплатой. На что и ушел практически весь грант Сороса. Но дети росли, и им было необходимо дать свое пространство, да и нам тоже.

Подбором вариантов и всеми поисками занималась в основном Оля, остальные ходили только смотреть, что она предлагала. В общем, она проделала большую работу, но в результате этого переезда пришлось кое-чем пожертвовать – не было больше у нас за окном тех прекрасных деревьев, которые – с двух сторон – радовали глаз на прежней квартире. Все окна в жилых комнатах (квартиры не фасадной, а флигельной) выходили во двор-колодец (точнее на крыши этого двора, так как квартира наша, как и прежняя, была на последнем этаже). Это поначалу, пока не привык, было для меня «обломом». Единственно, что я сделал почти сразу по переезде – позвал одного умельца из нашего прихода, и мы с ним (я подавал инструменты, названия которых пришлось осваивать на ходу, и уносил мусор) расширили небольшое окошко, бывшее в прихожей, превратив его в почти полноценное окно – с довольно красивым видом на крыши Петроградской в направлении Невы. Помню, как мы с папой (а ему, между прочим, было уже 73) тащили откуда-то издалека раму для этого окна, которую удалось по случаю достать.

Многое и другое пришлось в этой квартире переделывать. Например, там выпирали, не давая нормально поставить мебель, остатки старых печей, и я, вооружившись зубилом (с трудом вспомнил слово!) отбивал эти выступающие части... В общем, было много веселого в таком роде, что сейчас для меня выглядит почти, как подвиги Геракла, а тогда совершалось в каком-то отчаянном порыве (такие вещи лучше делать не очень задумываясь, хватит ли сил, тем паче – нужно ли). Все это помогло как-то справиться с депрессией, которая ко мне, подступала порою от вселения в это ветхое и запущенное жилье.

Но я забыл рассказать о переезде. Конечно, это была эпопея, но, оглядываясь назад, я больше всего удивляюсь, что помимо грузчиков, которые тащили (на шестой этаж без лифта) тяжелую мебель, я подключил к переезду своих друзей. Они, бедные, корячились, таская бесчисленные коробки – с книгами и прочим барахлом, которым мы обросли за годы семейной жизни. Сейчас мне, конечно, стыдно, что, таская эти коробки (летом, когда было довольно жарко) у нас на этих такелажных работах подвизались такие люди, как философ Олег Ноговицын, учредитель премии Андрея Белого Борис Останин и историк Дмитрий Панченко. Из друзей помоложе был только Женя Вильк, известный в городе филолог, замдиректора музея Державина. В общем, я бесстыдно злоупотребил дружбой выдающихся людей, но тогда мы были проще и о таких вещах не задумывались. Но главное, наверное, почему я попросил их помочь в трудный момент – желание душевной поддержки, которую ни один грузчик ни за какие деньги не окажет.

Освящение новой квартиры совместили со службой, которую о. Валентин вместе с нашим странствующим приходом (я тогда уже был в нем чтецом) отслужили у нас в квартире вскоре после переезда. Я предполагал, что и в дальнейшем время от времени можно будет служить у нас, но уже первая служба показала, что смешивать семейно-домашнюю, то есть частную жизнь с богослужебной, без ущерба для того или другого, не получается.

Вскоре после переезда открылась и главная «засада» этой квартиры – то, из-за чего предыдущие жильцы отсюда сбежали. В большой комнате был сделан самопальный подвесной потолок. Мы не удосужились как следует посмотреть, что там над ним, в каком состоянии потолок настоящий. Но, как только пошли сильные дожди, все стало ясно – из-за старой, прохудившейся крыши потолок сильно протекал, и подвесной плохо скрывал все это безобразие, сам начиная уже отсыревать и протекать. Добиться в те времена, чтоб починили крышу, было практически нереально. Так что впору было прийти в отчаяние, сразу и от того, что так лоханулись (всегда неприятно оказаться в дураках), и от самой ситуации.

Совсем уже ни на что не надеясь (предыдущие жильцы, оказывается, это неоднократно делали), все же написали заявление в жилконтору, чтобы перестелили крышу. И – о чудо (это в самом деле было нечто удивительное, так как в тот год никакой программы по починке или перестиланию крыш на Петроградской стороне в помине не было, во всех соседних домах это началось много позднее) – в один прекрасный момент тем же летом или ранней осенью мы услышали, как начали отдирать старые листы крыши, а нас охватила некая смесь страха, что мы окажемся совсем незащищены перед питерскими дождями и ливнями, и надежды, что над нами настелют новую крышу. Некоторое время мы так и жили – с уже оторванными старыми листами, кое-как набросанными на стропила, пока привозили и складировали на той же крыше новые.

Именно в это время однажды ночью я услышал страшный грохот на крыше. Будучи трусоват и вооружившись каким-то тяжелым инструментом, то ли молотком, то ли топором, и обеспечив тыл женой с фонарем, вылез я из квартиры на лестницу и начал продвигаться в сторону чердака. Грохот между тем усиливался... Наконец, разглядел, кто там гремит... Это был Боря Останин... Но не один, а вместе с тогда уже чиновным, но нам давно знакомым, Сашей Кобаком – некогда два наших с А.Ш. зоила собственной персоной. Оба сильно поддатые. Боря недавно помогал нам переезжать, и тогда я его вывел на крышу, показать открывающиеся оттуда красоты, а теперь он ночью потащил Сашу (благо чердак был открыт), показать те же красоты. Нас они, конечно, будить не хотели, воспитанные ж люди, ага! Потому и не позвонили, а сразу пошли на крышу. А если б позвонили и зашли б к нам, то узнали, что крышу, поскольку она во многих местах нещадно протекала, по нашей настоятельной просьбе как раз в это время и перестилили. То есть старые жестяные листы были все отодраны и просто набросаны на каркас, а новые еще не настелили. Так что Боря и Саша чудом не провалились или не скатились по этим листам, вместе с ними, но лишь со страшной силой прогрохотали. О чем я, украдкой отложив свои орудия обороны, и поведал им, поздравив их с почти что новым рождением. Очень в Борином духе история, по-моему, Жесть!

Ну, в общем новую крышу нам в конце концов настелили, и осень мы встретили уже с ней. Теперь подвесной потолок можно было демонтировать, настоящий потолок очистить и побелить, и перевести дух после всех этих потрясений, наконец, оглядевшись по сторонам и оценив новый в нашей жизни район.

Конечно, мы и прежде не раз бывали на Петроградской, но одно дело сюда заезжать, например, к кому-нибудь в гости, и совсем другое – здесь жить. К тому же Петроградская сторона (как и некоторые другие центральные районы города) в это время начинала жить уже в другом веке, чем все остальные. То есть вот эта вся европейскость, которая была изначально заложена в этом районе при его строительстве и достигла расцвета перед революцией, в эпоху модерна, медленно, но верно начала возвращаться сюда (хотя бы в по-европейски оформляемых витринах магазинов). Район постепенно приходил в себя, стряхивая, как страшный сон, все уныло унифицирующей советской эпохи...

Сама архитектура Петроградской стороны сопротивлялась унификации. В отличие даже от района той же Черной речки, который застраивали в 50-70 годы все теми же однообразными сталинками и хрущевками (с редчайшими исключениями), здесь каждый дом имел свое лицо. И уже в первые дни жизни здесь (еще до того, как на нас обрушились описанные выше бытовые трудности), я почувствовал дух этого места...

Голландский дивертисмент

В сентябре-октябре 1998 года мне довелось поучаствовать в одном замечательном проекте в Голландии. Начинаясь он с довольно представительной конференции по Владимиру Соловьеву, а потом небольшой группе из четырех человек из участников конференции была предоставлена возможность пожить в одном католическом монастыре в Наймегене и позаниматься в библиотеке Института Восточно-христианских исследований

Католического университета Наймегена, Голландия (Institute of Eastern-Christian Studies, Nijmegen Catholic University, Holland) (сейчас и университет, и институт называются несколько по-другому).

Для конференции я написал доклад на английском, примерное название которого было: Мать Мария (Скобцова) и Владимир Соловьев: тема Софии. Пересказывать его не буду (в расширенном виде он по-русски вошел в мою диссертацию и книгу о м. Марии¹¹. Встречен он был с интересом¹².

Но чтобы не превращать эти мемуары в жанр академического хвастовства, без которого не получить новых грантов (слава Богу, мне уже этим не нужно заниматься), расскажу-ка лучше о двух выдающихся ученых, уже, увы, нас покинувших, с которыми я провел тогда полтора месяца бок о бок на одной программе. Это были Сергей Сергеевич Хоружий и Николай Константинович Гаврюшин.

Ни о том, ни о другом я, по своей серости и невхожести в круги рафинированной московской интеллигенции, ничего тогда толком не знал. Но Н.К. довольно быстро мне поведал и историю действительно удивительной жизни С.С., и о его достижениях. Вообще, я во всей нашей компании был самый молодой (хотя тоже относительно – уже 42 года!), и, в отличие от моих старших сотоварищей, ни к академическому, ни к элитарному православно-интеллигентскому кругу не принадлежал. Я не был даже «камер-юнкером» (ну, то есть кандидатом хоть каких-нибудь наук). Так что, несмотря на некоторый мой успех прямо на той конференции, я себя чувствовал не совсем в своей тарелке.

Впрочем, чувство некоторой нашей провинциальности или, попросту говоря, варварства, видимо, испытывал и Н.К. Еще во время доклада С.С. на соловьевской конференции, Н.К. с горечью заметил, что, вот, выступает переводчик «Улисса» Джойса, на не очень-то хорошем (особенно в плане произношения) английском. При этом Н.К. сказал об этом, сколько я помню, не для того, чтоб поддеть С.С., к которому он относился с почтением, а для того, чтоб печально вздохнуть о состоянии нашей, даже самой рафинированной интеллигенции после культурной разрухи советского времени... Именно таков был контекст его высказывания.

А вообще они с С.С. сразу взяли по отношению ко мне роль старших, более умудренных и жизнью, и знаниями людей, и даже немного соперничали между собой за то, кто окажется в этой ситуации моим, так сказать, «сокротом». А так мы занимались каждый своим делом, благо библиотека была прекрасная. А по межбиблиотечному абонементу можно было заказать из любой библиотеки Голландии любую нужную книгу. Жили мы в довольно старинном монастыре, в котором тоже была своя хорошая библиотека.

Но вернемся к нашей компании. Однажды мы втроем отправились в Амстердам. Ну, все, что положено посетили. Я, конечно, очень Рембрандтом впечатлился, его насквозь христианским искусством. Потом написал большое стихотворение «Протестант»¹³. Попытался извлечь некую позитивную ценность, на этот раз из протестантизма.

Ну так вот, походили мы по музеям, сидим отдыхаем где-то у воды, и тут Хоружий заявляет, что нельзя, побывав в Амстердаме, не сходить в квартал Красных фонарей, что это, мол, все равно что не посетить главной достопримечательности. Н.К. (он же всегда был благочестивым) стал отнекиваться, а я даже не сообразил, о чем, собственно, у них идет речь. Еще не отошел от посещения Рембрандта и был в настроении созерцательном... Ну, в общем, С.С. Н.К. уговорил, а я потащился за ними, не вполне представляя, что меня ждет. Потом, правда, каким-то боковым зрением увидев голую тетку в витрине, понял, куда нас любитель Джойса и исихастов затащил... И дальше я уже смотрел только под ноги. Не из

¹¹ <https://predanie.ru/book/104707-mat-mariya-1891-1945-duhovnaya-biografiya-i-tvorchestvo/>).

¹² Сужу по тому, что мне через несколько дней предложили его повторить в университете Лувена, а В.А. Котельников его опубликовал в одном из издаваемых Пушкинским Домом сборников «Христианство и русская литература», № 4, 2002.

¹³ См. в сборнике «Дважды двенадцать».

стыдливости или аскезы, а просто отвратительно, что человек может сделать такое с человеком – я имею в виду тех, кто выставил этих теток в витринах.

Что до С.С., то рассказываю я все это вовсе не с тем, чтоб обличить его в распушенности нравов. Не за этим он туда ходил, думаю, а чтоб испытать себя, что ли... Типа того, как поставить себя в какую-то пограничную, но не в психологическом, а в моральном отношении ситуацию, а заодно познать западную цивилизацию, так сказать в ее самых откровенных формах. Но я к такому эксперименту над собой был явно не готов. Не помню, что сказал обо всем этом Н.К., но точно в восторг не пришел.

Наконец, надо рассказать и о своей поездке с Брюссель. Собственно, был я там по дороге в Лувен. Поехал я туда не посмотреть неофициальную столицу ЕС, а с более конкретной целью, хотя и на город попутно тоже поглазел и, надо сказать, впечатлился. Нет, не красотой архитектуры, а плохо скрываемым пафосом неоимперского центра, имеющего глубокие корни в прошлом, о чем напомнила воинственная статуя Фридриха Барбароссы. Эти западные европейцы не такие уж (в анамнезе) невинные овечки, подумал я тогда. В моем, воспитанном в советской школе сознании Барбаросса это что-то про фашистов, ну, да, и про крестоносцев... Одним словом, каждая цивилизация ставит памятники своим героям, которые для соседних цивилизаций совсем не герои, а завоеватели, и с ними ассоциируются самые мрачные страницы прошлого...

Ну, так зачем я приехал в Брюссель? Явно не за Барбароссой. Еще в Питере, повстречавшись как-то с Вадимом Лурье в Публичке и рассказав, что меня заинтересовало Житие Алексия, человека Божия, и я о нем собираюсь писать, услышал: тебе нужно к болландистам, в Брюссель. Я тогда не имел никакого понятия о том, кто это такие. Но потом навел справки, и вот, теперь, оказавшись недалеко от Брюсселя, заехал сюда, специально посетить болландистов, которых о своем визите не предупреждал.

Ну, в общем, я пришел с улицы, протопав через весь город, с трудом найдя их по карте. И, надо сказать, они меня впустили, все, что касается Алексия и его Жития, передо мной выложили, и я во все это погрузился, кое-что отксерив, чтоб продолжить разбираться уже дома. Уже беглого взгляда, помнится, было достаточно, чтобы убедиться, что появление этого Жития в его полной форме как-то связано с отстаиванием монастырем св. Бонифация на Авентине своих земельных прав...

До критической агиографии я еще не дорос... И решил, что ограничусь данными предания, рассматривая Житие исключительно в этих рамках¹⁴. На что-то большее у меня просто тогда не хватило знаний и навыков.

У Виктора Кривулина и в СП

У внимательного читателя моих мемуаров давно должен был бы возникнуть вопрос, почему я так давно не писал о Викторе Кривулине, которого прежде упоминал довольно часто. Вот о другом своем первом наставнике в поэзии, Викторе Ширали, как ходил к нему на Пряжку и прочее, написал, а о В.К. – ни разу. И даже в рассказе о переезде на Петроградскую Сторону, на тот самый Большой проспект, на другом конце которого и жил В.К., не упомянул. У этого умолчания были свои причины.

Будучи погружен во все эти богословско-философские и церковные дела, я практически выпал из литературной жизни. Из прежних товарищей по второй культуре встречался только с Борисом Останиным, поскольку он был редактором практически всего, что издавала ВРФС, в том числе того, что писал или переводил я. От него-то, да, может, еще от Сергея Завьялова я время от времени и узнавал литературные новости, но не особенно в них вникал.

¹⁴ В конце концов из этого вышла пространная статья: «Житие преподобного Алексия, человека Божия (преодоление чуждости в контексте православного предания)» // Чужое: опыты преодоления. Очерки из истории культуры Средиземноморья». Ред. Р.М. Шукуров. М. Алетей. 1999 г. (Институт Востоковедения РАН). С. 95–159. Есть на моей странице на academia.edu.

Краем уха слышал, что В.К. увлекся политикой и даже пытался попасть в депутаты. Мне казалось это странным. Сам-то я от политики в это время был далек. Ну, то есть какие-то геополитические и церковно-политические (ре)сентименты на этот счет у меня в текстах время от времени появлялись, но реального чувства истории России и мира, открытости ей в них в помине нет. Один раз написал о чеченской войне («Прицел»¹⁵), да и то несколько отвлеченно, и тут же ушел в богословие. Мне тогда и в голову не приходило, что в конце 90-х В.К., будучи соратником Галины Старовойтовой, был одним из немногих, если не единственным, деятелем бывшей второй культуры, кто безнадежно пытался спасти Россию от сползания в тот мрак, в котором она оказалась сегодня. Да и в своих стихах, сохраняя прежний метафизический накал, сумел открыться злобе дня в самом буквальном смысле (все это я пойму только лет через десять).

У нашего с Олей довольно длительного периода необщения с В.К. была и личная причина. Она касалась не нас, а нашей близкой подруги, Саши Созоновой, ее отношений с В.К. Но распространяться об этом я здесь не стану. Как бы то ни было, после изрядно долгого периода необщения (нет, размолвки между нами никогда не было), я все же решил, что пора его прервать, и это просто безобразие, что, живя от В.К. в двадцати минутах моей тогдашней ходьбы по Большому, мы, переехав сюда, ни разу у него не побывали. В конце концов, мне хотелось показать ему свои новые стихи, которые существенно отличались от того, что писал прежде. Оля, к сожалению, в это время почти не писала, так что тут особо показывать было нечего. Старые ее стихи В.К. знал и хорошо о них отзывался.

Встретил нас В.К. тепло и радостно, и отнесся, как он умел, с большим вниманием. Вот бы и мне было отнестись с таким же вниманием к нему самому и его тогдашним стихам! Знал бы, что всего ничего осталось ему жить, а нам встречаться, но кто такие вещи может знать? А вот сказал некто негде, что с каждым человеком следует общаться так, словно встречаешься с ним в последний раз. Но нет, я так не умел.

А В.К. какой-то удивительной внимательностью и открытостью как раз обладал. Стихи мои новые посмотрел, и тут же предложил их оставить, чтобы написать мне рекомендацию в Союз Писателей. Меня это, признаться, весьма удивило – такого поворота событий я совсем не ожидал. Как я теперь понимаю, у В.К. была своя политика по отношению к секции поэзии СП, и он пытался хоть какое-то число людей туда провести, близких себе по эстетическим вкусам и пониманию поэзии или просто ему симпатичных, что для любого крупного поэта вполне естественно. Ну, вот, он и попытался это проделать, в частности, со мною. Это, конечно, было чистой авантюрой. Подключили к этому и Ширали, ведь нужно было две рекомендации. Тот откликнулся с готовностью, но написал дрожаще-решительной рукой что-то совсем краткое, а В.К. написал развернутую рекомендацию, слишком лестную для меня, чтобы я тут ее воспроизвел¹⁶.

Чем кончилась авантюра с моим поступлением в «Союз» в практическом плане, легко догадаться. Имя в качестве рекомендателя В. Ширали, скандального и «очень талантливого» (последняя характеристика принадлежит, кстати, Кривулину), как и не менее одиозное для сохранивших власть в секции поэзии Союза писателей Санкт-Петербурга «советских» имя В. Кривулина – одного из отцов второй культуры, как и собственно то, что он написал в рекомендации, подействовали на собравшихся под руководством Ильи Фонякова поэтов как красная тряпка. Тут еще нужно иметь в виду, что Ширали некогда написал весьма едкую эпиграмму на Фонякова – зав. секции поэзии Ленинградского Союза Писателей, сохранявшего, удивительным образом, этот пост (не без потворства со стороны некоторых «перестроечников») и в постсоветское время.

В общем, дело мое было безнадежно, и закономерно провалилось. Но, с другой стороны, если б я не поддался на эту авантюру В.К., то и этого текста, интересного и глубокого в плане общих рассуждений о поэзии и возможности сочетания ее с православием, не появилось бы...

¹⁵ См. в сборнике «Дважды двенадцать».

¹⁶ Орывки из нее можно найти в послесловии издателей к моему сборнику стихов «Дважды двенадцать».

В целом же, мой неприяет в Союз памятен мне совсем другим. В тот же день «принимали» и Сергея Стратановского, известность которого была несопоставима с моей, как и значение его для русской поэзии. И хотя бывшие советские поэты, кои оставались в большинстве в секции, не посмели его «зарубить», поскольку у него, в отличие от меня, по формальным критериям все было блестяще – куча публикаций, хвалебные отзывы критиков, в том числе и статьи о нем в иностранных энциклопедиях, переводы его стихов на многие языки – все это не мешало этой своре пытаться, если не зарубить, то хоть покусать его. Но Сергей Георгиевич держался с необычайным достоинством, а я был очень рад, что присутствовал при его безоговорочной победе – моральной и фактической. Он же, кстати, в отличие от Ширали и Кривулина, достаточно критично отозвался о моих стихах. И мне это было полезно услышать. Стихи я писать после этого не бросил, но «профессионалом» в поэзии уже стать не пытался (да и не стал бы пытаться, если б не В.К.), а занялся в этом качестве другим. А сейчас, очень редко, но бывает, что и С.Г. о моих стихах скажет нечто одобрительное. Но по-настоящему он, не без оснований, признает Олины.

Диссер

Во второй половине 90-х многие частные ВУЗы в РФ проходили мучительный процесс государственной аккредитации и лицензирования, чтобы иметь возможность выдавать своим студентам дипломы государственного образца. От наличия такой возможности (парням в таких ВУЗах давалась еще отсрочка от армии) – напрямую зависело и число студентов, а значит и финансовое выживание ВУЗа. Для получения же аккредитации и лицензирования было необходимо, в частности, наличие какого-то числа преподавателей с научными степенями. У меня же не только степени не было по тем предметам, которые я преподавал, но даже и хоть какого-нибудь, подтвержденного корочками, гуманитарного образования! Формально меня вообще к преподаванию допускать было нельзя. Все это в совокупности подвигло Н.П. довольно настойчиво давить на меня, чтобы я перестал быть никем и наконец «остепенился». Я и сам уже неоднократно попадал в ситуации, где все вокруг меня были кандидаты с докторами, а я – никто, и на этой (впрочем, не только на этой) почве чувствовал себя самозванцем.

Самый естественный вариант был использовать наработки по изучению наследия матери Марии и написать диссертацию по ней.

Я не стану тут занудно рассказывать о том, как я писал диссер. Писал с увлечением и старательно – все же тема обязывала, к тому же Школа за меня платила – за соискательство в Университете культуры (попросту, «Кульке»), и подвести было нельзя. Как бы то ни было, диссер свой я написал, а в ходе этой работы опубликовал еще немало статей, в том числе на английском, в том же Оксфорде и в Штатах во вполне приличных журналах¹⁷. Так что к защите у меня всего этого «отчетного материала» набралось более чем достаточно. Короче, я перед Н.П. отчитался за потраченные на меня деньги (небольшие, но все же...) и стал кандидатом культурологии. Скромненько, но вполне достаточно для тех задач, которые стояли при аккредитации и лицензировании ВРФС, для чего это все и делалось. Ну, и мне пригодились для всяких прагматических целей.

Но мысль о том, что вот, мать Мария платила ~~потом~~ и кровью, а затем и своей жизнью и жизнью своего сына за свою судьбу, а я делаю на ней сначала деньги, получая грант от Сороса, а потом и этот диссер, этот помысел, нет-нет, да посещал меня все это время... Но что поделать, если так устроена жизнь в этом мире. Единственно, что я в этой ситуации мог – постараться, по крайней мере, честно писать о ней, не приукрашивая ни ее жизненного пути, ни душевных и духовных метаний, не кривя душой ни в угоду либеральному православию (его олицетворял для меня о. Сергей Гаккель), с одной стороны, ни в угоду ниспровергателям и ругателям м. Марии из МП (их главным глашатаем

¹⁷ Многое из этого можно найти на моей страничке на academia.edu

был о. Валентин Асмус). Вот, как-то пройти между этими Сциллой и Харибдой, честно исследовать жизнь и творчество м. Марии – и было главной задачей моего диссера, а потом – книги¹⁸.

Встреча с епископами РПЦЗ

Где-то в это время, то ли в конце 1999 года, то ли в начале 2000-го у нас дома остановился на ночь епископ Евтихий (Курочкин) (РПЦЗ). О. Валентин попросил оказать ему гостеприимство, не без «тайного» умысла. Он давно уже прочил меня в диаконы (чтецом я уже был несколько лет) и надеялся, что мы познакомимся с Евтихием поближе, и он как-то расположится ко мне, а там и рукоположит. По крайней мере, такова была версия о. Валентина. Сказать, чтоб я особенно рвался в дьяконы, было б сильным преувеличением. Но по послушанию и ради дела, я был готов. А еще о. Валентин подбил меня дать Евтихию почитать мою статью о Житии преп. Алексия, которая тогда как раз только что вышла. Может, хотел произвести впечатление, какие у него умные прихожане в общине, может еще что...

Ну, в общем я эту статью почитать дал, но эффект вышел прямо противоположный. Владыка Евтихий не попался на хитросплетения моей мысли, а прямолинейно заявил, что бросать жену нехорошо и что это совсем не пример для подражания.

И ведь с пасторской точки зрения он, наверное, был прав – не пример для подражания Алексей, тем паче, что, как доказали римо-католики (те же болландисты?), такого святого не было (почему они и вовсе вывели его из святцев). (Впрочем, в современной науке убедительно показано, что отдельные подвиги и «кусочки судьбы», приписываемые Алексию, так или иначе имели место в жизни того или иного святого и/или в их житиях).

Как бы то ни было, я все же предполагал более серьезные отношения епископа к православному преданию, да и к тому, зачем я все это написал. Но, увы... О дьяконстве можно было и не заикаться. К некоторому, впрочем, моему облегчению.

Второй раз я встречался с епископом РПЦЗ опять по настоянию о. Валентина и с той же целью, кажется, в 2000 году. В этот раз в Питер приехал еп. Михаил (Донсков), позднее не менее, чем Евтихий, известный в качестве ликвидатора РПЦЗ в РФ, и вскоре прославившийся как «трижды анафема» – за насильственные действия в отношении митр. Виталия (Устинова). Наша встреча с ним была еще более холодной, чем с Евтихием. С о. Валентином он разговаривал высокомерно, а меня просто не замечал.

После этой встречи о. Валентин был чернее тучи и сказал (помню, мы стояли на пронизывающем ветру на Неве, у Дворцового моста), что ничего хорошего с Церковью в России и с ней самой не будет, а мне лучше бы отсюда уезжать.

После этого совета и под воздействием еще кое-каких факторов и влияний – внешнего и внутреннего порядка – я предпринял ряд действий, в результате которых мог оказаться человеком с совершенно другой судьбой (как и вся наша семья). Но рассказ об этом приурочу к тому моменту, когда эта эпопея закончится (в 2001 – 2002 годах).

2000 – 2001 ГГ.

Часть 1. Дела семейные

2000 год и следующий 2001-й выдались для нашей семьи и для меня лично весьма бурными, ознаменованными многими событиями. Боюсь, что я уже и так устроил из своих мемуаров такой перманентный самопиар... Но в эти годы в нашей семье в самом деле было несколько приятных моментов. Впрочем, такие события всегда имели свою обратную сторону, если не омрачающую радость от них, то усложняющую жизнь.

¹⁸ Вот ссылка на нее: <https://predanie.ru/book/104707-mat-mariya-1891-1945-duhovnaya-biografiya-i-tvorchestvo/>

Первой радостью было то, что старший сын, Фимка, занял первое место в младшей группе трубачей на международном конкурсе им. Тимофея Докшицера в Москве. В этом главная заслуга, конечно, его учителя, покойного Анатолия Яковлевича Зеличенка, ну, и Оли, которая регулярно таскала его с 6 лет на занятия и терпела все, что терпят матери юных музыкантов, при том что и учитель был талантливый, но «с особенностями» нрава, которые она, почти не жалуясь, переносила.

В Москву с Фимой ездил дедушка (ему было тогда уже 75 лет), то есть мой папа (мы были заняты), и он первым разделил с внуком радость победы, а главное, действительно, хорошего выступления. У папы самого был прекрасный слух, и он явно не реализовал в себе сполна музыкальные способности, разве что пел в молодости, сам себе подыгрывая, песни военных лет, да маму этим очаровал... С моим обучением музыке случился полный провал. А тут во внуке, наконец, дед утешился.

Эта победа, закрепленная на следующий год (или через, я уже не помню) победой на конкурсе имени Мравинского в Питере, впрочем, породила сразу и позднее кучу проблем. Нужно было покупать хороший, а значит дорогой, заграничный инструмент. А главное – вставал вопрос о том, у кого и где потом, после музыкальной школы, учиться. Трубная школа в России находилась в серьезном кризисе (сильно отставала от мирового уровня), и нужно было думать об учебе на Западе... Одним словом, назревали проблемы (пока они только маячили), которые решить было совсем не просто.

Вторым приятным событием было поступление младшего сына, Федьки, в классическую гимназию. Поступил он не без скрипа, и при первой встрече с родителями директор гимназии, узнав, что я преподавал физику в школе, меня подловил, так что я на радостях о Федькином поступлении согласился, и с сентября начал, помимо своего преподавания в ВРФШ и ИБИФе всяких возвышенных предметов, преподавать в классической гимназии (благо идти до нее пешком было двадцать минут) физику в младших классах.

А хоть в этих классах физика и несложная, но ребята-то умные, и нужно было как-то не ударить лицом в грязь. Ну, в общем, я продержался целый учебный год, а потом сбежал. Хоть и гимназия замечательная, и коллектив прекрасный, но учитель физики – это отдельное призвание, и я уже побыл им в деревне Бычье и потом еще несколько лет по возвращении из нее в Питере, а теперь чувствовал, что это не мое. Из всего своего учительства в классической гимназии я теплее всего вспоминаю, как я на педсовете отстоял одну ученицу, которую хотели отчислить. У нее были сложные семейные обстоятельства, но она была талантливая, хотя по некоторым предметам, вроде математики – двоечница. Но я и еще кое-кто из учителей настоял, что исключать ее нельзя, и вот теперь, когда я время от времени встречаю ее на Петроградской (она здесь делает нечто театральное, судя по всему, прекрасно), мы с радостью здороваемся...

Ну, а еще летом 2000 года во время посещения с сыновьями Голубого озера на Карельском, под Рожино, куда мы когда-то вместе ездили с папой, когда мне было лет 14, а ему, ну, чуть больше, чем мне – в 2000, мне приоткрылась тайна отцовства и еще кое-что относительно семьи и детей. Я написал тогда стихотворение в 12 строф, которое называется «Голубое озеро»¹⁹.

А чтобы не создавалась ложная иллюзия какой-то более или менее семейной идиллии или экзистенциального благодушия, приведу и еще один стишок этого же примерно времени:

Смирись, когда тебя поносят
И дочь, и сын – ты заслужил.

¹⁹ См. сборник «Дважды двенадцать».

Готовься, скоро тебя спросят,
Зачем ты жил.
Зачем я жил?..

Часть 2. Дела учебные и научные

2000–2001 годы были для ВРФШ очень трудными. Вовсю шла подготовка к аккредитации, которая, собственно, началась уже и предыдущие годы. А в разгар этих событий внезапно уехал в свое родное Запорожье наш главный феноменолог и завкафедрой философии А.Г. Черняков (на нем лежало очень много по части подготовки программ и т.п.). Это так меня потрясло, что я даже написал стишок об этом, обыгрывающий понятие «отсутствие» – все же писал я о философе. Начинался он словами: «Являет ценность человека / Отсутствие... Что он незаменим, / Мы узнаем лишь расставаясь с ним, / Неважно, умер он или уехал». Но потом все же через несколько месяцев (после того, как помог старикам-родителям) А. Черняков вернулся и опять включился в работу.

В 2000 году ВРФШ отпраздновала 10-летие своего существования. Это был праздник не без горечи. И потому, что такой, как в период *Sturm und Drang* в начале 90-х, Школа уже не была, и потому, что вожделенная аккредитация была еще не получена, и потому, что уровень студентов (как и их число) медленно, но верно падал... Но все же 2000 год был благополучный (получили грант от Фонда Темплтона), и Школа позволила себе и отпраздновать юбилей, и выпустить, наконец, том Трудов. Это был Том V, и последний. Можно сказать, лебединая песнь, хотя тогда мы еще этого не знали.

Предыдущий, Том IV, выходил давно – в 1997 году. Потом то ли средств не было, то ли сама идея такого коллективного сборника не привлекала, то ли и то, и другое, но Труды ВРФШ не выходили. А теперь, к юбилею, их решили издать, и составителем этого тома (он называется «Богословие. Философия. Словесность»), как и самого первого, в 1992 году, значусь я (редактором же неизменно был Б. Останин).

Вообще, со Школой сотрудничало много замечательных людей, и пятый том Трудов это хорошо отражает. Настоящей же его изюминкой был перевод, который сделал А. Черняков – статьи немецкого феноменолога Александра Хаардта «О присутствии будущего в картине». Статья была посвящена главным образом картине Бакста «Древний ужас» (мы раскошелились даже на цветную вклейку), которая, как и ее анализ, думаю, сохранила свою актуальность и в наше время – ужаса перед возможной будущей катастрофой европейской цивилизации. Думаю, что А. Черняков, который вообще тонко чувствовал катастрофичность современной истории, выбрал ее в 2000 году отнюдь не случайно. Очень жаль, что его собственная безвременная кончина (душным летом 2010 года) сильно упредила наши «последние времена».

Что до меня, то, злоупотребив своим правом составителя, я поместил в сборнике не одну, а две, правда небольшие, статьи – в раздел Богословие: «Святой Апостол Иуда и его соборное послание» и в раздел Словесность: «Пасха Пушкина»²⁰. Вторая статья была посвящена великому стихотворению А.С. «К морю» 1824 года. Написана в жанре, к которому я давно не прибегал – с того времени, как вел в ВРФШ при ее возникновении курс «Герменевтики поэзии», по которому сильно соскучился. Не без советов филолога (Е. Вилька, сотрудника музея Пушкина), получилось, мне кажется, нечто интересное. Я пытаюсь показать, что совершающееся в этом стихотворении (хоть Пушкин и не сознавал этого) духовно изоморфно прехождению евреями Чермного моря, вписывается в эту парадигму. Сейчас, почти через четверть века, перечитав эту статью, я вижу, что в ней и методологически, и содержательно заложены основные принципы герменевтики поэзии, которых я придерживаюсь до сих пор.

²⁰ Обе вывешены на academia.edu

Часть 3. Конец эпохи. Смерть В. Кривулина

Мы жили на другом конце Большого проспекта Петроградской стороны, погруженные в свои дела и заботы, и не знали, что совсем недалеко от нас умирал человек, которому мы с Олей обязаны очень многим. Так что даже не попрощались с ним. Поэтому, когда узнали об этой смерти 17 марта 2001 года, были до глубины души потрясены.

Кривулин был не просто очень большой поэт. Он был олицетворением всей эпохи «второй», а на самом деле, единственной для нас культуры. Которая была больше, чем культура, а по аналогии с тем, как сказала О. Седакова о «другой поэзии», – «другой культурой». Эта культура – независимо от того, какой у тех или иных ее представителей был религиозный заряд, была не только культурой, но и духовным явлением и движением. Поэтому не удивительно, что, узнав о смерти Кривулина, Оля, впервые за долгие годы прервавшая свое поэтическое молчание, написала на его смерть стихотворение, где вписывает его, а вместе с ним и следом за ним и нас, в библейскую парадигму.

Памяти В. Б. Кривулина

В холодный день под знаменьем Креста
Не добредя до Пасхи половины
Пути, ты умер посреди Поста,
Едва нащупав крест среди пучины
Тяжёлой петербургской, то ль весны,
То ли зимы, досюда протяжённой...

Из моря Чермного Израиля сыны
В пустыню вышли, в воздух раскалённый.

Невероятно, как остался жив
Ты в юности, как после, ковыляя
И ногу волоча, из чёрных жил
Ты крылья вырастил, чтобы забыть, летая,
Об этой тяжести, но за тобой, как цепь,
Гремела речь косноязычем странным,
И вёл неумолимо Бог отцев
Куда-то вглубь барханов безымянных
Нас, оставляя комьями лежать
В песках поющих, в синеве расцветшей,
Печалью дышащей, кто смог бы удержать,
Но надо удержаться; перешедший
Брод благодати, был Иаков вспять,
Как Иордан, развёрнут и стреножен,
Чтоб зазвенеть Израилем опять
И, став мечом, быть поражённым тоже.

И, памятью разбужен, с двух сторон
Ты слышал шум, шёл караван послушный,
Но из земли земля рождала стон,
Здесь шёл народ и лёг, уже ненужный.
И тот и тот. «Когда б не Бог нас вёл...»* –
Споткнулся и пропал куда-то с матом.

Блестя как новенький, с небес упал орёл,
В сидячей позе, с жезлом и лопатой.

Вожатый, летописец, лесовик,
Зажатый снами зверь иной породы,
Ворочался, скрипел, дремал, привык
До мелочи, до смерти, до свободы.

=====

* Слова принадлежат одному из героев стихов В. Б.

Март 2001

Это настоящее стихотворение, и мне не хочется расплести его сложную поэтическую ткань своим анализом, подсказывать, например, что косноязычье намекает на Моисея и т. п. . . .

Но на одну деталь хотелось бы обратить внимание. Строчки: «Блестя как новенький, с небес упал орёл, / В сидячей позе, с жезлом и лопатой» – неявно намекали на новую-старую политическую ситуацию, в который мы начали жить с начала нулевых. Оля, что нетривиально в таком стихотворении, вплела в его метафизически-библейскую ткань и нечто злободневное, как, собственно, делал это и сам Кривулин.

Что до меня, то я тоже отозвался на смерть своего наставника в поэзии и культуре небольшим стихотворением. Оно, конечно, не ровня Олиному. Но что-то важное, мне кажется, ухвачено и в нем:

Эпитафия В. Кривулину

Поэт-интеллигент, последний понимающий

культуры, умиравший с ней,

культуры неизвестно чьей,

не русского народа же, – родней

народа был ему последний

русский

мальчик.

Здесь подспудно переопределяется «интеллигент». Это – не то, что вы подумали, с эпитетом «слянявый» и всяческим гамлетизмом. . . . А понимающий – созерцатель смыслов. Смыслов истории и культуры, неотделимой от этой истории. Смыслы же – это никакие не «мысли» (ну, то есть не помыслы), они логосны, и так или иначе восходят к Смыслу всех смыслов. Всегда ценностно заряжены, векторны, а не скалярны. Понять такой смысл, ухватить его, можно лишь ценностно сориентировавшись в том же направлении.

Вот такие ориентиры дает в своих стихах и статьях Кривулин, и это было и остается очень важным для всех, кто встречался и с его творчеством, и с ним самим. Когда-то я таким

«русским мальчиком», о котором идет речь в эпитафии, мальчиком, взыскующим смыслов, пришел к Кривулину, и он дал мне словесную пищу, как давал ее всем²¹. Кто мог воспринять. Это было важнее поэзии, точнее, неотделимо от его поэзии, делало ее ДРУГОЙ.

Так совпало, что в год смерти Кривулина я работал учителем в классической гимназии, и путь мой на работу шел мимо его дома на Большом. Каждый раз, проходя мимо, я поминал В.Б., так длилось долго... И продолжается, уже независимо от моих маршрутов, до сих пор.

Часть 4. Дела церковные

Как бы я ни хотел, но обойти эту историю нельзя: иначе трудно понять многое из того, о чем здесь и в следующем мемуаре пойдет речь.

Еще в 1999 году у меня случилась полемика с ныне уже покойным о. Павлом Симаковым (священником РПЦЗ из Питера), главным редактором ежемесячной газеты «Православное обозрение», которую он учредил вместе с о. Владимиром Савицким. Полемику вызвала статья о. Павла «Миф о Холокосте» (майский номер, 1999). Уже по одному ее названию можно судить о ее содержании. О. Павел открыл для себя «ревизионистов», отрицателей Катастрофы (Юргена Графа и других) и полностью, без всякой критики и оговорок, принял их взгляды на геноцид против евреев со стороны нацистов. Масштабы этого злодеяния, согласно их мнению, были в корыстных целях чудовищно преувеличены (минимум в пять, а то и десять раз). Ну и все такое в том же роде (со всеми псевдо-техническими подробностями относительно устройства печей в Освенциме, которые, согласно ревизионистам, не могли давать такую производительность).

Помимо всего прочего о. Павел поминал и «богословие после Освенцима» и даже конференции, посвященные этой проблематике, прошедшие в Питере. В глазах о. Павла само участие в этой конференции уже было криминалом – предательством Христа, так как те, кто «верит в Холокост» фактически подрывают веру во Христа. То есть такая, с его точки зрения, цель «мифа о Холокосте» – помимо того, чтоб нажиться на репарациях, предъявить миру коллективную жертву евреев, которая затмила бы собой жертву Христа, сделав умученных евреев чем-то вроде коллективной мессии.

Я бы, конечно, не ввязался в эту полемику, если бы газетка о. Павла не распространялась в том числе и в нашем приходе, но тут смолчать не смог. Вся эта полемика ничем, кроме публикации (в июльском номере «Православного обозрения» за 1999 год) моего и его ответного письма не кончилась. Но, как говорится, «осадочек остался», и на следующем этапе описываемых здесь событий дал себя знать.

Перекресток судьбы

Я давно уже заметил, что самые серьезные в жизни искушения приходят через едва ли не самых близких людей. Нет, я не хочу никого обвинить, я сам – взрослый человек, и никто из тех, о ком я здесь буду писать, ничего плохого мне не хотел и не сделал. Они как раз хотели хорошего. И мой молодой друг, филолог Е.В., который в какой-то момент в конце девяностых, решив, что ничего хорошего в России не ждет его сыновей и по многим другим причинам, вполне понятным, решил, что нужно воспользоваться возможностью, которую открывает Германия перед евреями, и эмигрировать туда всей семьей. Он и позвал меня вместе со всей моей семьей, отправиться тем же путем.

Плохого не желал мне наверняка и о. Валентин, который после описанной мной выше встречи с епископом РПЦЗ Михаилом (Донсковым) сказал, что ничего хорошего в России с Церковью и с ней самую не будет, и посоветовал уезжать отсюда. Филолог Е.В.,

²¹ См. также мою статью: «Поэт-репетитор (памяти Кривулина)» (<https://reading-hall.ru/akt/14.pdf>).

кстати, тоже был из нашего прихода, по крайней мере, иногда в нем появлялся. И о. Валентин был в курсе его планов, так что и мне посоветовал присоединиться к нему.

Все это происходило вскоре после нашей полемики с о. Павлом относительно «мифа Холокоста», что (сам факт наличия таких людей в нашей Церкви) говорило о среде, которую не очень-то жаль было и покинуть. Некоторым образом, она сама выталкивала из себя. Тут еще примерно в это же время на стене на нашей лестнице кто-то написал про жидов, живущих в такой-то квартире – номер был указан наш. И хотя через какое-то – не такое уж скорое – время надпись была закрашена, свое дело она все же тоже сделала (дети с таким столкнулись впервые). Так что все сошлось одно к одному, и в начале 2000 года я, сначала отстояв длинную очередь (ее, кстати, поминает о. Павел в своей разоблачительной статье), а потом, собрав необходимые документы (это была изрядная морока) подал, наконец, заявление на эмигрантские визы для всей семьи, включая и стариков-родителей – не оставлять же их здесь одних. Они хоть и нехотя, но согласились.

Атмосфера в стране между тем становилась все более мутной. По крайней мере, в одном из стихотворений 2001 года я написал об этом так:

Хотя еще, кажется, кто-то кричит под обломками
Из заживо погребенных, но еле слышны
Их крики, а уже к боли глухими потомками
Возводятся новые стены великой страны

Из старых камней... Реставрируются развалины
И древней Руси, и Российской империи, и
Советской, и здесь – либо строй, либо сваливай,
Пока тебя не «замочили» и не «замели».

Ну, может быть, я несколько и преувеличивал (тогда никого особо не «мели»), но обострившееся у меня с некоторых пор историческое чувство позволяло немного заглядывать и вперед.

И вот, на фоне всего этого, где-то в конце 2001 года, не помню точно, когда, а может даже в 2002, я получил известие из немецкого консульства, что нам, всей семье – одобрена въездная «еврейская» виза в Германию. Осталось только сходить в консульство и завершить какие-то формальности. Ну, я и пошел, мысленно уже прикидывая, какие бонусы может принести этот переезд. Фимка сможет найти хорошего учителя по трубе, там-то школа не чета нашей, и с его талантом с высокой степенью вероятности сделает музыкальную карьеру. Ну, а все остальные тоже как-то устроятся. Федька пойдет в гимназию, он – головастый. Старики-родители получают нормальное медицинское обслуживание, а не это наше, невесть какое... Чем буду заниматься сам, я не очень-то представлял, но ясно было, что для начала придется попотеть и поучить немецкий, который я, в отличие от своего молодого друга Е.В., учить только начинал. Но в языковой среде как-нибудь все выучим.

Вот с этими или примерно с этими мыслями я шел в консульство. Там встретили меня хорошо, все было, что называется, «отлажено». Ну, вот еще какую-то маленькую бумажку попросили заполнить, чуть не с четверть бумажного листа. Чистая формальность – для подачи документов в ту или иную землю в Германии. Там, не помню уже какие были графы, но, среди них точно была одна, которую я запомнил: вероисповедание. Не стану врать, не помню, помедлил ли я или не помедлил, но точно помню, что написал: христианин.

У меня бумажку вежливо взяли и сказали, что вскоре придет окончательный ответ. Как не трудно догадаться, из-за этого «христианин» нам отказали. То есть старикам-родителям въезд был одобрен (но они, конечно, без нас никуда не поехали), а мне и моим детям – отказано. Я слышал до этого, что в Израиль, если написать, что христианин, то

«репатриироваться» не дадут. Ну, так вот, здесь оказалось то же самое. А мой друг Е.В. летом 2002 года вместе с семьей уехал. И я написал еще прочувствованное стихотворение на его отъезд. Мы были душевно весьма близки (позднее он, кстати, не раз поддерживал моих детей, оказавшихся по учебе или по работе в Германии).

Так, из-за того, что я не соврал – не хочется писать высокопарно: «не отрекся от Христа» – у меня сложилась та судьба, которая сложилась. Впрочем, она ведь еще не завершена...